



К 100-летию со дня рождения К. С. Станиславского

слов, у всех на душе становилось светло и радостно, и не было человека, который бы с этой первой минуты не влюбился в него навсегда.

Таково было его обаяние! Такова была его красота!

Когда он говорил о великом значении театра, о высокой чести иметь право называться артистом и об огромных обязанностях, налагаемых этим почетным званием: о бесконечных трудностях на пути к истинному мастерству, о беспрестанной, каждодневной работе над собой, над своим голосом, телом, дикцией, становилось стыдно за себя, за свое дилетантское отношение к искусству за ремесленный подход к работе, за все свое кривлянье и ломанье. После беседы с ним становилось беспощадно ясным, что есть только два решения: либо по мере своих сил служить театру так, как он ему служит, либо уйти из него.

Такова была сила его облагораживающего влияния. Таково было его подвижническое отношение к искусству.

Вечер... До начала спектакля осталось часа два. Я захожу в пустой и темный зрительный зал. Дежурная лампочка на

сцене чуть освещает декорацию первого акта чеховского «Иванова». Одинокая фигура бродит по сцену Иванова, то присаживается на скамью, то всходит на балкон, жестикулируя и шепча что-то... Я потрясен. Это он что-то ищет, исправляет и совершенствует в своем бесподобном Шабельском, в роли, сыгранной им множество раз с непревзойденным мастерством, в этом шедевре из шедевров.

Такова была его строгость к себе. Таково было его непрестанное стремление к совершенству.

Глубокая ночь... Репетиция длится уже много часов. Бесконечное количество раз повторялись разные сцены и куски. Застрелили по полчаса на каких-нибудь отдельных фразах, отдельных словах... Все измучились. Все выбились из сил. Только он один, работавший больше и напряженнее всех нас, бодр, свеж и полон творческой энергии. Но вот, кажется, и конец! Все вызваны со сцены к столу, и он делает последние замечания. Сейчас настанет заслуженный отдых...

— Ну-с, еще раз все, с самого начала, — говорит он неожиданно.

На дворе светает...

Такова была его работоспособность.

Каждая фальшь в искусстве причиняла ему как бы физическую боль. Каждая искренняя нота вызывала у него счастливую улыбку. Наблюдать за его лицом во время показа было куда интереснее и поучительнее, чем смотреть на самый показ. Как в непогрешимо верном зеркале, отражалось на нем все, что происходило на сцене. Оно менялось ежесекундно, и тысячи оттенков и переживаний волшебю сменялись на нем. Вот он весь нагнулся вперед... Глаза весело горят. Он громко и заразительно хохочет... Это значит — актеры живут и действуют по правде, и на сцене — праздник. Вот он откинулся назад. Брови нахмурены. На лице суровость сменяется скукой и равнодушием... Это значит, — актеры начали представлять, сбился на штампы, и на сцене — будни. Обмануть его со сцены было невозможно!

Так непогрешимо было развито в нем чувство правды!

Из воспоминаний народного артиста СССР

В. А. Вербицкого

Черты его лица в отдаленности нельзя было назвать ни классическими, ни даже правильными. И все же я не встречал человека красивее его. Что-то львиное, что-то орлиное было в его фигуре, в гордо откинутой седой голове с черными бровями, из-под которых сверкали его вдохновенные глаза.

Но не бывал он и другим, приятливым и простым. Когда перед вступительным экзаменом в Художественный театр он подходил к экзаменуемым, близким к обмороку от страха перед предстоящим испытанием, с ласковой, доброй улыбкой, с каждым здороваясь за руку, говорил им несколько успокоительных, ободряющих